

РОМАНТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ



Мама
всегда
знала
больше...

РАЗВОД.

*Всё записано
на маму*

Свой
хлеб.
Своя
жизнь.

ООО «Сормовский хлеб»

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

СОРМОВСКИЙ
ХЛЕБ



Оксана Верес

Развод. Всё записано на маму

<https://litres.ru/74667489>

SelfPub; 2026

Аннотация

Двадцать лет брака и шестнадцать лет главным бухгалтером на хлебозаводе покойного отца — и однажды утром у Веры не проходит карта на кассе. Дом записан на свекровь, сеть пекарен, которую она придумала, — тоже. Доля мужа в заводе вдруг оказывается «подаренной», а на её имя уже готово уголовное дело. Вера вернёт себе завод, имя и правду о том, кто семнадцать лет назад оставил её отца умирать за закрытой дверью. По дороге она встретит мужчину, который сначала пришёл взыскать с неё долг.

Оксана Верес

Развод. Всё

записано на маму

Глава 1

Отказ

Седьмого октября я проснулась в шесть ноль две, за три минуты до будильника. Так я просыпалась шестнадцать лет подряд. Организм главного бухгалтера не верит будильникам, он верит только закрытию квартала.

Вадима рядом не было. Подушка смята, но уже холодная, часов на тумбочке нет. Раз в неделю он уезжал на завод к шести: «Машины встречу, ты спи». Я и спала. Двадцать лет брака — это когда не спрашиваешь, каких машин он ждёт в шесть утра во вторник.

В шесть ноль пять я поставила чайник. В шесть двенадцать спустился Тёма в пижаме с якорями и объявил, что сегодня блины. Объявил не мне, а миске: он уже насыпал в неё муку, разбил два яйца, одно мимо, и теперь задумчиво вылавливал скорлупу пальцем.

— Тём, в шесть утра блины — это подвиг.

— Это не подвиг, это тесто должно постоять двадцать минут, — ответил мой одиннадцатилетний сын голосом техно-

лога Зои Михайловны. — Я посчитал. Если сейчас замесить, к без двадцати семь как раз.

Он месил молча и обстоятельно, как клеил свои парусники: по инструкции, которую сам и составил. Я смотрела на его затылок с вихром и думала, что из всего, что я сделала в жизни, этот вихор — самое удачное.

В шесть пятьдесят спустилась Соня. Наушники, худи с капюшоном, телефон в руке. Семнадцать лет, одиннадцатый класс, профильная математика. Она взяла блин двумя пальцами, сложила вчетверо и съела, не вынимая из ушей музыку.

— Сонь, доброе утро.

Она подняла бровь. Это и было доброе утро. Бровь у неё моя, ладыгинская, но в этом Соня не признается даже под пыткой.

В семь пятнадцать мы выехали. Новинки — Мещерский мост — Сормово: сорок минут, если не встать у Канавинского. Гимназия у нас в Сормове, в двух остановках от завода. Когда мы строились в Новинках, я ещё каждый день ездила на завод, и возить детей туда, где работаю сама, казалось логичным. Логика устаревает быстрее, чем привычка.

В восемь ноль три я высадила обоих у ворот. Соня ушла не оглянувшись. Тёма помахал. В восемь пятнадцать я уже стояла на светофоре у Канавинского моста, а в девять ноль пять парковалась в переулке за Покровкой.

* * *

По вторникам я проверяла флагманскую пекарню «Тёплого хлеба». Официально я два года как «отошла от дел», неофициально знала эту витрину лучше, чем собственный холодильник. Каждый пирожок в ней я когда-то сама заставила лечь именно так. Ржаной заварной слева, потому что люди тянутся правой рукой, а ржаной покупают те, кто знает, чего хочет. Сдоба справа, на уровне глаз ребёнка.

На кассе стояла новенькая, лет двадцати, с кольцом в брови и бейджиком «Алина».

— Капучино и две чабатты с собой.

Я приложила карту. Терминал подумал и выдал короткую сердитую трель.

— Отказ, — сказала Алина. — Давайте ещё раз.

Второй раз он думал дольше. Как будто сомневался, говорить ли мне.

— Отказ.

Сзади кто-то вздохнул. У кассы на Покровке в девять утра всегда кто-то вздыхает: люди опаздывают и хотят кофе. Я достала зарплатную карту, на которую шестнадцать лет падали мои официальные сорок пять тысяч. Терминал пискнул весело.

— Спасибо, приходите ещё, — сказала Алина и посмотрела на меня так, как смотрят на женщин в хорошем пальто, у которых не проходит карта.

Я ни разу в жизни не стояла с этой стороны кассы.

В машине я позвонила в банк. Робот, два меню, мелодия,

девушка Екатерина. Она проверила, извинилась и сообщила, что моя дополнительная карта заблокирована держателем основного счёта. Сегодня в шесть сорок одну.

— Держатель основного счёта — Соколов Вадим Сергеевич, — сказала Екатерина. — Разблокировать её может только он. Я могу вам ещё чем-то помочь?

Я сказала, что нет, и положила трубку. Шесть сорок одну. Машины он встречал.

Можно было бы ему позвонить. Двадцать лет я так и делала: «Вадь, у меня карта не проходит», и через минуту приходило «Ой, глюк, щас». Я посмотрела на телефон, на его фотографию в контакте — Вадим на рыбалке, загорелый, с щукой, — и звонить не стала. Сначала считать, потом чувствовать. Папа говорил: если цифры не сходятся, не ори на кассира — найди, где ошибка.

Я открыла ноутбук. Банк-клиент «Сормовского хлеба» я знала наизусть: логин, пароль, токен. Последние два года я «подсказывала» Нине Павловне по шесть часов в день: проверяла выписки, ставила платежи в очередь, ловила задвоения. Удалённо, из дома, бесплатно. Мне казалось, что это любовь к делу. Вадим говорил: «Ты у меня золото».

Неверное имя пользователя или пароль. Обратитесь к администратору организации.

Я ввела ещё раз, медленно, проговаривая буквы. То же самое.

Нина Павловна взяла трубку после пятого гудка. На фоне

гудел принтер и кто-то разговаривал.

— Нина Пална, у меня банк не пускает. Вы пароль меняли?

Пауза. Нина двадцать лет была моей правой рукой. Её голос я узнавала по первому вдоху: уставший, раздражённый, «Верочка, вы гений». Сейчас она не дышала совсем.

— Верочка, — сказала она шёпотом. — Я не могу говорить.

И сбросила.

Я сидела в машине в переулке за Покровкой, на коленях лежали две остывающие чиабатты в крафтовом пакете. Корка на них была мягкая. Значит, на прошлой неделе снова сменили муку на дешёвую. Отмечать такое я умею даже тогда, когда у меня рушится жизнь. Особенно тогда.

* * *

До обеда я делала то, что делает любая взрослая женщина, когда её мир даёт сбой: всё, что было запланировано. Забрала из химчистки Вадимов костюм — его, кстати, я оплатила наличными, и это вдруг показалось смешным. Купила Тёме клей для моделей, а Соне — маркеры для конспектов, которыми она никогда не пользуется. Заехала в МФЦ за справкой для Тёминого лагеря.

В час двадцать позвонил дядя Гена.

Геннадий Борисович Лаврентьев, папин однокурсник по политеху, мой крёстный и Тёмин. Семьдесят два года, бархатный голос, адвокатская контора на Ильинке и мандарины

на каждый Новый год. Он был финансовым директором завода, когда я ещё ходила под стол, и до сих пор звал меня так, как звал папа.

— Ты как, Верунь? Банк глючит, мало ли. Ты не нервничай.

— Глючит, — согласилась я. — Дядь Ген, а ты не знаешь, что у Вадима...

— Не дури, — ласково перебил он. — Вечером поговорите. Мужик устал, на заводе проверка, нервы. Поговорите, как взрослые люди. Ну всё, обнимаю, у меня клиент.

Я ещё постояла с телефоном у уха. Дядя Гена всегда так говорил — «не дури». Когда я в шестнадцать собралась бросить музыкалку. Когда в двадцать один выходила замуж за Вадима и плакала накануне: «Не дури, хороший парень». Когда папа умер. Это слово было у него вместо «держись».

* * *

Вадим приехал в восемь ноль семь. Я услышала, как хлопнула дверь «Камри», и машинально посмотрела на часы — бухгалтерская привычка фиксировать время операции.

Тёма был наверху с моделью. Соня — у себя, в наушниках, за закрытой дверью. Я стояла на кухне и резала огурцы в салат, который никто не будет есть.

Он вошёл и не снял пальто. Это я заметила первым. Вадим всегда раздевался в прихожей, бросал ключи в блюдо из Мурано, которое нам подарили на десятилетие свадьбы, и кричал: «Есть что пожрать?» Сегодня ключи остались у него

в руке. Он прошёл на кухню, сел на высокий стул у острова и положил ключи перед собой, как на переговорах кладут телефон.

— Привет, — сказала я. — Карта утром не прошла.

— Знаю. — Он кивнул. — Я её закрыл.

— Позвонить было сложно?

— Вера, сядь.

Я не села. Я держала нож и огурец, и мне было почему-то важно их не выпускать.

— Банк-клиент тоже ты?

— Ты не работаешь на заводе, — сказал он спокойно, как на планёрке, когда объяснял логистам, почему опять не уложились в график. — Ты сама так решила, два года назад. Доступ у постороннего человека к банку — это нарушение. Мне Ковальчук сказал, я сделал.

— Посторонний человек — это я?

— Я неправильно выразился.

Он потёр переносицу. Устал, сказал бы дядя Гена. Я смотрела на мужа и видела то, на что двадцать лет не смотрела: он подготовился. Пальто не снял, чтобы не задерживаться. Ключи держал на виду, чтобы я поняла, что он уедет. Говорил ровно, потому что знал заранее каждую фразу. Вадим никогда не умел управлять заводом, но разговаривать умел всегда. За это его когда-то и взяли менеджером по продажам.

— Вер, я не хочу скандала. Дети дома.

— Я тоже не хочу. Поэтому скажи уже, что ты пришёл

сказать.

Он помолчал. Посмотрел на потолок, туда, где был Тёмин звук: шуршание бумаги, щелчок пинцета.

— Я двадцать лет живу в вашем доме, — сказал он. — Твоего отца. Твоей матери. Твоём. Я тут как... Ладно. Это неважно.

— Вадик, это наш дом. Он вообще на твою маму записан. Он почему-то усмехнулся.

— Вот именно.

Я положила нож. Огурец оставила в руке. Глупо, но я стояла и держала огурец, как держат свечку на похоронах.

— Говори.

Он встал, застегнул верхнюю пуговицу пальто, взял ключи и посмотрел на меня прямо — впервые за вечер. В этом взгляде не было ни злости, ни вины. Было облегчение человека, который двадцать лет просил меня подписать «вот тут», а теперь сам положил на стол все бумаги разом.

— Я подаю на развод, — сказал он. — Кристина ждёт сына.

Глава 2

Всё записано на маму

Ночью я не спала, но и не плакала. Я считала.

Кристина. Кристина Мальцева, директор по маркетингу «Тёплого хлеба», тридцать три года, светлый пиджак, хорошие зубы. Четыре года назад я сама подписывала её трудовой

договор — тогда ещё подписывала. На собеседовании она сказала, что наш бренд «тёплый, но немножко бабушкин» и что его надо «омолодить». Я подумала: девочка из маркетинга. Омолодить она, как выяснилось, решила не только бренд.

Я считала месяцы. Если сын, то пол уже известен, значит, срок не меньше восьми недель. Значит, август. Значит, когда мы в августе собирали Соню к одиннадцатому классу и Вадим «задерживался на инвентаризации», он... Дальше я считать перестала. Некоторые цифры лучше оставить в столбике, не подводя итог.

Вадим уехал в восемь сорок, сказав: «Детям завтра сам скажу, с мамой». Я не поняла, при чём здесь его мама. Утром поняла.

* * *

В семь тридцать в замке повернулся ключ.

Я стояла у плиты в халате и варила Тёме овсянку — блины второй день подряд я бы не пережила. Дверь открылась, и в прихожую вошла Галина Борисовна Соколова в бежевом плаще и с сумкой-тележкой в клетку.

— Не пугайся, — сказала свекровь. — Я своим.

У неё действительно был свой ключ. Десять лет был, я его сама ей заказывала. «Пусть будет, мало ли, дети, трубу проврёт». Я тогда думала, что это забота.

Она прошла на кухню, не разуваясь. Серые замшевые полусапожки, на мраморной плитке остались два мокрых следа: на улице была морось. Тележку она поставила у острова,

растегнула её и достала прозрачный файл, а из файла — лист.

— Это чтобы без недопонимания, — сказала она и положила лист на стол, рядом с Тёминой тарелкой.

Выписка из ЕГРН. Свежая, позавчерашняя, с QR-кодом. Объект: жилой дом, площадь 220 квадратных метров, Нижегородская область, посёлок Новинки. Правообладатель: Соколова Галина Борисовна. Дата регистрации права — 2015 год.

Я это знала. Конечно, знала. В пятнадцатом году Вадим сказал: «Давай оформим на маму, надёжнее, если с заводом что-то». С заводом тогда было что-то постоянно — проверки, сети с ретро-бонусами, мука то по пятнадцать, то по двадцать два. Я кивнула. Мы были одной семьёй. Деньги, как Вадим тогда сказал, были его: премия, кредит, мамины сбережения, «я разберусь». Я не вникала. Дом я не считала, я считала завод.

Галина Борисовна щёлкнула кнопкой чайника, как у себя дома. Впрочем, она и была у себя дома.

— Ещё «Тёплый хлеб», — сказала она, — тоже мой. Сто процентов. Ты это тоже знаешь, сама оформляла.

Сама. В семнадцатом году я собрала из двенадцати пекарен отдельное общество, чтобы торговлю отделить от производства, — правильно, чисто, по учебнику. Учредителем записали свекровь: «Вадик директор, а учредитель пусть будет мама, чтоб не всё в одних руках». Не всё в одних руках, как

же. Всё оказалось в одних, просто не в моих.

Двадцать лет я вела бухгалтерию. Как выяснилось, чужую. Самое смешное — я была уверена, что это моя.

— Чай будешь? — спросила свекровь.

Она достала из шкафчика мою чашку. Не гостевую — мою, белую, с тонкой золотой полоской, из сервиза, который подарила мне мама. Налила, бросила пакетик. Себе взяла Вадимову, с надписью «Лучший папа», которую Тёма раскрашивал в четыре года.

— Садись, Вера. В ногах правды нет.

Я села. Не потому что она велела, а потому что ноги решились за меня.

— Я не зверь, — сказала Галина Борисовна. — Поживите пока. Тёме до конца четверти доучиться надо. Соня, конечно, остаётся, ей экзамены. Я сюда переберусь, присмотрю. Вадик просил.

— Вадик просил, — повторила я.

— А ты как думала? Он мой сын.

Она отпила из «Лучшего папы» и посмотрела на меня поверх кружки. У неё были хорошие глаза — серые, внимательные, складские. Десять лет она заведовала складом готовой продукции на нашем заводе и пересчитывала поддоны одним взглядом. Сейчас она пересчитывала меня.

— Я, Вера, в бараке выросла. На Бурнаковке. Семь семей, одна плита, туалет во дворе. Ты этого не знаешь и знать не можешь. Ты в Сормове на Коминтерна в сталинке росла, с

пианино. Папа — директор, мама — учительница.

— Галина Борисовна, при чём здесь...

— При том. — Она поставила кружку. — Твой отец, царство ему небесное, меня на склад взял. И все десять лет здоровался со мной так, будто одолжение делал. Не со зла. Порода такая. Ладыгинская. Вы и не замечаете, как другие на вас смотрят, потому что вам не надо смотреть снизу.

Я хотела сказать, что папа здоровался так со всеми, даже с министрами. Что он был близорукий и стеснялся очков. Что гордость у него была не от породы, а от того, что он в девяносто третьем вытащил этот завод из руин голыми руками. Ничего этого я не сказала. Когда свекровь в семь утра стоит на твоей кухне с выпиской, спорить о покойниках неэффективно.

— Вадик двадцать лет был у вас при доме, — сказала она. — Как зять у барина. Хватит.

На лестнице раздались шаги. Соня спускалась в наушниках, с рюкзаком на одном плече. Увидела бабушку, вынула один наушник.

— Ба, привет.

— Привет, солнышко. Блинчиков тебе?

— Не, меня Настин папа ждёт, у нас консультация.

Она чмокнула бабушку в щёку, взяла из вазы яблоко и ушла, не взглянув на меня. Я смотрела ей вслед и отметила то, что не хотела отмечать: моя дочь не удивилась. Бабушка в семь тридцать утра на нашей кухне, в сапогах, с файлом —

а Соня сказала «привет», как будто так было всегда.

Значит, она знала. Не про выписку — может быть. Но про то, что сегодня бабушка будет здесь, знала.

Тёма спустился следом, уже одетый, в форменной жилетке, с рюкзаком, на котором болтался брелок-якорь.

— Здравствуйте, бабушка Галя.

— Здравствуй, внучек. Каша остывает.

Он сел, посмотрел на неё, на меня, на выписку рядом со своей тарелкой. Тёма всё видит. Он такой с трёх лет: молчит и складывает детали. Он аккуратно отодвинул выписку локтем, чтобы не капнуть на неё молоком.

— Мам, мы не опоздаем?

— Не опоздаем.

Я поднялась наверх, оделась за четыре минуты, джинсы и свитер — для пальто не было сил, взяла куртку. Внизу све-кровь мыла мою чашку. Тщательно, под горячей водой, будто после чужого.

— Вечером Вадик приедет, — сказала она, не оборачиваясь. — С вещами разберёмся.

* * *

«Киа» завелась с полоборота. Тёма пристегнулся сам, как всегда, и сразу полез в телефон смотреть видео про такелаж.

Новинки — мост — Сормово. Тот же маршрут, тот же светофор у Канавинского, та же радиоведущая, которая уверяла, что сегодня в Нижнем плюс девять и переменная облачность. Я вела машину и думала, что всё вокруг такое же, как

вчера, а изменилась только бумага на кухонном столе. Удивительно, сколько жизни может уместиться в одну выписку с QR-кодом.

В восемь ноль одну я въехала на парковку у гимназии. Утро обычное: мамы у ворот, кто-то с самокатом, кто-то с кофе, Лена Пронина в розовом пуховике машет мне рукой. Я помахала в ответ. Тёма отстегнулся.

— Пока, мам.

— Пока, Тём. Обед в контейнере.

Он открыл дверь, я потянулась забрать с заднего сиденья его сменку и в зеркале увидела, как к воротам медленно, задом, сдаёт жёлтый эвакуатор с платформой. Встал он ровно за моим бампером.

Из кабины вышел мужчина в чёрной куртке, с синей пластиковой папкой. Огляделся, сверил что-то в телефоне и пошёл к моей двери.

Мамы у ворот перестали разговаривать.

Мужчина наклонился к моему окну и постучал костяшкой.

— Соколова Вера Алексеевна? — спросил он, когда я опустила стекло. — Договор лизинга расторгнут.

Глава 3

Пап, я с тобой

— Вы ошиблись, — сказала я. — Это моя машина.

Мужчина с папкой посмотрел на меня с усталой жало-

стью. Так смотрят люди, которые каждый день слышат одну и ту же фразу и каждый день отвечают одно и то же.

— Лизингополучатель — общество с ограниченной ответственностью «Сормовский хлеб». — Он раскрыл папку и показал мне лист через стекло. — Уведомление о расторжении договора лизинга по инициативе лизингополучателя. Подписано генеральным директором Соколовым В.С. Предмет лизинга подлежит возврату лизингодателю. Вот акт. Вы можете не подписывать, это не обязательно. Ключи, документы, пожалуйста.

Я знала этот договор. Я сама его проверяла в двадцать третьем. Кроссовер, тридцать шесть месяцев, автомобиль для служебных разъездов главного бухгалтера. «Возьмём на завод, так выгоднее по налогам», — сказал Вадим. Всё было выгоднее по налогам. Даже я.

Тёма стоял у открытой пассажирской двери и держался за лямки рюкзака обеими руками, будто его тоже собирались погрузить на платформу.

— Тём, иди на уроки.

— Мам...

— Иди. Всё в порядке. Это рабочий вопрос.

Он не пошёл. Он стоял и смотрел, как я выключаю двигатель, достаю из бардачка СТС, вынимаю из подстаканника свой термос, из кармана двери — зонт, из багажника — пакет с Сониными кедами, которые она месяц просила отвезти в ремонт. Всё это я сложила на асфальт рядом с собой.

Получилась маленькая горка женского имущества: термос, зонт, кеды, автомобильная зарядка, пачка влажных салфеток и детское кресло-бустер, из которого Тёма вырос два года назад, а я так и не выложила.

Лена Пронина подошла, встала рядом и спросила шёпотом:

— Вер, тебе помочь?

— Нет, спасибо.

Она отошла. Через четыре минуты, когда моя «Киа» уже стояла на платформе, задрал нос, я почувствовала, как в кармане завибрировал телефон. Одно сообщение, второе, пятое.

Родители 5 «Б»: фото. Подпись: «Девочки, это у нас что, у школы машины эвакуируют?? Тут же не запрещено!»

«Это не за парковку, это лизинг забирают, я рядом стояла О_О»

«Ой...»

«Держитесь, кто бы это ни был <3»

Кто бы это ни был. На фото было видно моё лицо, номер машины и Тёмин рюкзак с якорем.

— Тёма, — сказала я, и голос получился, как у моей мамы на родительском собрании. — На уроки. Сейчас.

Он ушёл. Обернулся у ворот. Я помахала. Эвакуатор тронулся.

* * *

Вадим взял трубку с первого гудка. Значит, ждал.

— Ты забрал у меня машину у школы. При ребёнке.

— Я не забирал. Я расторг договор лизинга, потому что это машина завода. — Голос у него был ровный, на заднем плане урчал кондиционер в кабинете. — Ты на заводе не работаешь. Ты дома сидишь. Зачем тебе заводская машина?

«Дома сидишь». Он ни разу за два года так не говорил. Говорил: «Отдохни», «Займись детьми, ты заслужила», «Подсказывай Нине, если не трудно». А теперь — «сидишь». Это слово не родилось сегодня утром. Он его готовил, примерял, оттачивал. Может быть, вслух, перед Ковальчуком. Может быть, перед Кристиной.

— Можно было предупредить.

— Ковальчук сказал: не предупреждать, а то наделаешь глупостей. Вер, давай без истерик. Вечером приеду. С мамой.

Он отключился. Я стояла у ворот гимназии с горкой вещей у ног и думала: какие глупости я могла бы наделать с «Киа»? Угнать в Казахстан?

Такси до Новинки стоило тысячу триста сорок рублей. Таксист помог погрузить бустер и спросил: «Переезжаете?» Я сказала: «Похоже на то».

* * *

Вечером они приехали вдвоём. Вадим с двумя пустыми чемоданами, Галина Борисовна — с одним полным. Свой она поставила в гостевую. Вадим ушёл в гардеробную.

Я позвала детей на кухню.

Есть разговоры, к которым готовишься годами, а когда они случаются, оказывается, что ты не подготовилась ни к одному слову. Я сто раз видела в кино, как родители сажают детей и говорят: «Мы с папой решили...» В кино у всех были приличные лица и красивые свитера. На мне были джинсы, в которых я утром собирала с асфальта кеды.

— Ребята, мы с папой разводимся, — сказала я. — Мы оба вас любим. Это не ваша вина и не ваше решение. Папа будет жить отдельно. Вы будете с ним видеться, сколько захотите.

Вадим стоял в дверях кухни с чемоданом. Кивнул. Хотел, видимо, что-то добавить, но посмотрел на Тёму и не стал.

Про Кристину я не сказала ни слова. Не при Тёме. Соня, судя по её лицу, знала и так. Тёма... Тёма потом узнает от кого угодно, только не от меня. Я так решила ещё ночью: ни одного плохого слова об отце при сыне. Это была единственная цифра в моём балансе, которую я контролировала полностью.

— А бабушка Галя зачем? — спросил Тёма.

— Бабушка поживёт, присмотрит за вами, — сказала свекровь из коридора. — Мама же у вас теперь...

Она не договорила, но все поняли, чем у вас теперь мама.

— Если кому-то здесь будет тяжело, — сказала я ровно, глядя только на детей, — у бабушки Люды есть место. Мы решим. Не сегодня.

Соня встала и ушла наверх. Я слышала, как хлопнула её дверь, как выдвигались ящики, как вжикнула молния на

большой спортивной сумке. Через десять минут она спустилась — с сумкой через плечо, в куртке, с лицом, которое я видела у себя в зеркале в двадцать один год, перед свадьбой.

— Сонь... — начала я.

Она на меня не посмотрела. Она смотрела на отца.

— Пап. Я с тобой поеду.

Вадим поставил чемодан. Я видела, как у него дёрнулась щека, как он быстро посмотрел на мать, потом на дочь, и я прочитала по этой щеке всё его будущее: квартира на Верхневолжской, двушка, в которой живёт беременная Кристина, и семнадцатилетняя дочь с сумкой на пороге.

— Сонь, там пока... — сказал он. — Там ремонт, тесно, ты к экзаменам... Давай пока здесь, с бабушкой. Я каждый день буду. Правда.

Соня постояла секунду. Потом сняла сумку с плеча, поставила на пол прямо посреди кухни, расстегнула молнию и начала выкладывать вещи на стол: футболки, зарядку, учебник Яценко по профильной математике, плюшевого зайца, которого я не видела у неё лет пять.

— Я никуда не еду, — сказала она. — Это мой дом.

Потом сложила зайца пополам, сунула под мышку и подняла на отца глаза.

— Пап, я с тобой. Понял? Я с тобой.

Она не уезжала с ним. Она оставалась в бабушкином доме, на его стороне. Она прикрыла его. Семнадцатилетняя девочка, которой отец только что сказал «там тесно», прикры-

ла его от моего взгляда, от бабушкиного, от своего собственного. Вадим выдохнул, и я увидела, что ему стало легче. Ему всегда становилось легче, когда кто-то прикрывал его вместо него самого.

Наверху скрипнула дверь. Тёма, которого никто не заметил, вышел из кухни ещё в начале. Теперь он спускался по лестнице медленно, двумя руками неся перед собой модель «Крузенштерна» — четыре мачты, сто двадцать деталей такелажа, подарок крёстного на десятилетие. Тёма клеил её восемь месяцев.

Он прошёл мимо сестры, мимо отца, мимо бабушки, встал рядом со мной и поставил корабль на стол, у моего локтя. Ничего не сказал. Просто встал рядом. Я положила руку ему на плечо, а он прижал её своей ладонью, не глядя.

Никто не плакал. Вадим поднял чемодан и пошёл к двери. Галина Борисовна поджала губы. Соня с зайцем под мышкой поднялась наверх.

Я сидела на кухне до двух ночи и подводила итоги, как в декабре подводила итоги года.

За тридцать шесть часов я потеряла мужа, дом, машину и дочь.

Оставался завод.

Утром я поехала туда.

Глава 4

Проходная

На завод я приехала на трамвае. Последний раз я ехала на сормовском трамвае лет в восемнадцать, и тогда он пах точно так же: мокрой резиной, железом и чьими-то семечками. Я стояла у задней двери, держалась за поручень и смотрела, как за окном проплывают Сормовский парк, гаражи и серые корпуса судоверфи. Потом показались наши трубы.

Мой отец купил этот завод в девяносто третьем вместе с дядей Геной, на ваучеры, долги и честное слово. Мне было девять. Я помню первый хлеб, который они выпустили после ремонта печи: папа принёс домой буханку, положил на стол, разломил руками и сказал маме: «Люда, мы живы». Мама заплакала. Я не поняла почему. Теперь понимала.

Проходная у нас старая, с турникетом-вертушкой, будкой со стеклом и табличкой «Предъявите пропуск в развёрнутом виде». Я приложила карточку к считывателю. Красный огонёк.

— Вера Алексеевна... — Дядя Миша поднялся из будки.

Михаил Петрович работал на проходной с девяносто шестого. Он помнил меня с косичками и с первым паспортом, когда я пришла летом в цех «по-взрослому». На его глазах я выходила замуж, отсюда меня везли в роддом с Соней. Сейчас он стоял передо мной и не знал, куда деть руки.

— Велено вас как посетителя, — сказал он и покраснел.
— Извините. Распоряжение.

— Всё нормально, дядь Миш. Пишите.

Он достал из-под стойки толстый журнал в коленкоровой

обложке — точно такой же, как в девяностые, только обложка была уже синяя, а не бордовая.

— У нас по старинке, — сказал он, будто оправдываясь. — Алексей Николаевич приучил. Каждого в журнал, с часами. Компьютер компьютером, а бумага бумагой. Архив в подвале с девяностых, вся история. Девчонки из отдела кадров ругаются, место занимает, а я не даю выкидывать.

Он вписал своим аккуратным почерком: дата, «Соколова В.А.», цель визита — подумал и написал «личные вещи», время входа — 9:12. Протянул мне ручку, я расписалась. Первый раз в жизни я расписывалась на собственном заводе как гостя.

* * *

Административный корпус — два этажа, коридор с линолеумом под паркет и запах кофе из автомата, который ломается каждый вторник. Бухгалтерия справа, мой кабинет в торце. Последние два года я сидела в нём дважды в неделю. Остальное время я сидела дома за ноутбуком, но кабинет оставался моим, как остаётся твоей детская в родительской квартире.

Нина Павловна сидела за своим столом у окна и смотрела в монитор так внимательно, будто там показывали её собственный приговор.

— Доброе утро, Нина Пална.

— Доброе, — сказала она монитору.

Двадцать лет. Она пришла к нам при папе, рядовым бух-

галтером по зарплате. Я сделала её своим заместителем. Я была на свадьбе её Дениса. Я трижды отдавала ей свою премию, когда у неё болела мать. Она звала меня Верочкой и говорила: «Вы, Вера Алексеевна, гений, я без вас пропаду».

Не пропала, судя по всему.

Дверь моего кабинета была не заперта. Я вошла и сразу поняла: здесь уже кто-то был. Верхний ящик стола выдвинут на палец. Папки на полке стоят не по годам, а как попало. Кружку с рыжим котом, которую Тёма подарил мне на Восьмое марта в первом классе, сдвинули с подставки и поставили на подоконник. Мелочь, но тот, кто это сделал, не знал, что кружку я всегда ставлю ручкой к окну, чтобы кот смотрел на дверь. Теперь кот смотрел в стену.

Я не стала ничего выяснять. Коробку взяла в подсобке — из-под пробных пакетов муки «Городецкая мельница», с синей мельницей на боку и надписью «Образцы». И начала собирать вещи.

Кружка. Фотография детей, Соня в шесть, Тёма в год, оба в муке. Папин калькулятор «Электроника» — не работает с девяносто девятого, но выбросить нельзя. Шерстяной кардиган со спинки кресла. Крем для рук. Справочник технолога хлебопекарного производства восемьдесят шестого года с папиными пометками на полях. Блокнот, в котором я когда-то нарисовала первую витрину «Тёплого хлеба». Пачка открыток от сотрудников, которые я почему-то хранила в нижнем ящике.

Всё, что было здесь моего, уместилось в коробку из-под образцов и даже не доставало до краёв. Шестнадцать лет на одной полке.

В дверях появилась Зоя Михайловна Кулагина. Наш технолог с восемьдесят девятого года, «крёстная» каждой нашей рецептуры. Шестьдесят один год, белый колпак, руки как у хирурга, характер как у бетономешалки. В руках она держала что-то, завёрнутое в пекарскую бумагу.

— На, — сказала она и сунула свёрток мне в ладони. — Горячая.

«Городская булка». По ГОСТу, наша, с гребешком, с только что из печи блестящей корочкой. Бумага обжигала пальцы, и я перехватила булку, как когда-то на первой летней смене.

— Зой Михална...

— Молчи. — Она оглянулась в коридор, где Нина Павловна изучала монитор. — Мы всё знаем. Весь цех знает. Рустам!

Рустам Алиев, наш старший пекарь, тридцать четыре года, сам с Чкаловска, руки по локоть в муке, появился из-за её плеча, будто ждал за углом.

— Вера Алексеевна, давайте коробку.

— Я сама.

— Давайте. — Он забрал коробку и понёс по коридору, перекладывая её из руки в руку, будто она была горячей, как булка. Хотя она весила килограмма три.

У лестницы Зоя Михайловна взяла меня за локоть.

— Если что, — сказала она тихо, — мы с вами. Я и Рустам.

И ещё кое-кто. Ты запомни.

Я запомнила.

* * *

Вадим из кабинета так и не вышел. Дверь приёмной была закрыта. Секретарша Оля, проходя мимо, сделала вид, что меня не знает.

Мы с Рустамом спустились к проходной. Я держала булку, он — коробку. Через стекло будки было видно, как дядя Миша кого-то вписывает в журнал.

У турникета стоял мужчина в рабочей куртке. Не офисный, не из налоговой: тёмно-синяя куртка с потёртыми манжетами, джинсы, ботинки, на которых ещё виднелась белёная пыль. Высокий, сухой, около сорока пяти, коротко стриженный, с сединой на висках. В руке у него была тонкая папка.

Дядя Миша протянул ему ручку. Мужчина взял её, наклонился над журналом и на секунду задержал ручку над строкой. На секунду дольше, чем нужно человеку, чтобы вспомнить собственную фамилию. Потом расписался коротко, без завитушек.

— Корнеев. «Городецкая мельница», — сказал он дяде Мише. — К Соколову. Он в курсе.

Дядя Миша снял трубку внутреннего телефона, послушал, кивнул.

— Вадим Сергеевич занят. Просили передать бумаги в приёмную, Ольга спустится.

Мужчина не удивился. Он, кажется, вообще не умел удивляться, по крайней мере не на людях. Он отошёл от будки и чуть не налетел на Рустама с коробкой. Посмотрел на коробку, на синюю мельницу на боку, потом на меня.

— Это моя коробка, — сказал он.

— Это мои вещи, — ответила я. — Коробку можете забрать, когда я их выложу.

Он помолчал. Посмотрел на булку у меня в руках, на коробку, на мою куртку не по погоде.

— Вы Соколова. Главный бухгалтер.

— Пока да. Наверное.

— Тогда вы знаете. — Он чуть приподнял папку. — Ваш завод должен мне за полгода.

— Мой завод? — Я чуть не рассмеялась. — Уже нет.

— Неважно, чей. Важно, что должен.

— Четырнадцать миллионов шестьсот, — сказала я. — Если с поставкой от двадцать шестого сентября, по накладной на сорок тонн ржаной обдирной. Без неё — двенадцать девятьсот. Двадцать шестого вам ещё не подписали приёмку, у вас там была претензия по влажности. Влажность, кстати, правда была четырнадцать и восемь при норме четырнадцать и пять. Я бы на вашем месте не стала включать эту поставку, пока не урегулируете.

Он смотрел на меня так, будто я вдруг заговорила на его

родном языке посреди чужого города.

— Влажность урегулирована, — сказал он медленно. — Две недели назад. Ваш технолог подписал протокол.

— Тогда четырнадцать шестьсот. — Я кивнула. — С октября у вас начнут капать проценты по договору поставки, ноль один в день. Если вы, конечно, их не забыли прописать.

— Не забыл.

— Я знаю. Я этот договор согласовывала.

С лестницы спустилась секретарша Оля, взяла у него папку, поставила штамп входящего на копию и ушла, не глядя на меня. Корнеев сложил копию вдвое, сунул во внутренний карман и снова посмотрел на меня. Без жалости. За три дня это был первый человек, который смотрел на меня без жалости. Все остальные — дядя Миша, Зоя, Лена Пронина, таксист — смотрели на меня как на больную. А этот смотрел как на противника, у которого есть цифры.

— Претензия зарегистрирована сегодня, — сказал он. — Через тридцать дней — арбитраж.

— Логично.

— Вас это не пугает?

— Меня сейчас пугает только трамвай. — Я перехватила булку другой рукой. — Я не знаю, где у вас тут останавливается такси с коробкой.

Он не предложил подвезти. И правильно. Если бы он предложил, я бы, наверное, впервые за три дня заплакала.

Рустам вызвал мне такси и поставил коробку в багажник.

Корнеев вышел из проходной следом и направился к старому тёмно-зелёному «Ленд Крузеру» на гостевой парковке. Открыл дверь, поставил ногу на подножку и вдруг обернулся.

— Я знал вашего отца, — сказал он. — Мельком.

И сел в машину, и уехал, пока я ещё стояла с открытым ртом и горячей булкой в руке.

Глава 5

Одна комната

К маме я переехала в субботу, одиннадцатого.

Решение я приняла в такси от завода, по дороге в Новинки. Расчёт был простой, как приходный ордер. Без машины из Новинки до гимназии — два часа в день, Тёма будет вставать в шесть и приезжать в восемь вечера. Свекровь на кухне — каждый день, с «Лучшим папой» и моей чашкой. Соня наверху, за закрытой дверью, с зайцем и Яценко. А у мамы на Коминтерна — десять минут пешком до школы, окно во двор с тополем и мама, которая никогда не говорит лишнего. Иногда она не говорит и нужного, но сейчас это было плюсом.

Тёма, когда я ему сказала, спросил только одно: «А корабль влезет?»

Влез. «Крузенштерн» ехал на заднем сиденье такси на Тёминых коленях, укутанный в банное полотенце. Остальное — два чемодана, сумка с документами и бабушкина шкатулка — ехало в багажнике. Галина Борисовна стояла на крыль-

це и смотрела, как я грузу вещи. Соня не вышла.

* * *

Мамина двушка — сталинка на втором этаже, потолки три двадцать, паркет ёлочкой, который папа циклевал сам в восемьдесят пятом. Одна комната мамина, вторая когда-то была моей, потом стала кабинетом папы, потом, после него, — ничьей. Там стояли книжные шкафы, письменный стол, диван и пианино, на котором я в последний раз играла в шестнадцать.

Мама поставила для Тёмы диван, для меня — раскладушку. Раскладушку она достала с балкона и протёрла влажной тряпкой. Ни о чём не спросила, кроме:

— Тёма ест гречку?

— Ест.

— Хорошо.

Людмила Ивановна Ладыгина, шестьдесят семь лет. Тридцать пять лет учила химии сормовских подростков, из которых добрая половина работала потом у нас на заводе. Прямая спина, седой узел на затылке, очки на цепочке. Когда я была маленькой, мама казалась мне самым правильным человеком на свете: она никогда не опаздывала, не повышала голоса и всегда знала ответ. После папиной смерти она стала ещё правильнее и ещё тише, будто внутри у неё выключили какой-то прибор, а лампочка индикатора осталась гореть.

Тёма поставил «Крузенштерна» на подоконник, развернул носом на улицу и долго поправлял, чтобы мачты не за-

девали штору.

— Он смотрит на Волгу, — сказал он.

Отсюда Волгу не видно, но спорить я не стала.

Вечером я разбирала чемоданы и поняла, что одну сумку с зимними вещами положить некуда. В коридоре у мамы большая антресоль под потолком — папина, с дверцами на защёлке. Я принесла из кухни табуретку, встала на неё и потянулась к защёлке.

— Не лезь.

Мама стояла в дверях своей комнаты. Голос у неё был не громкий, но такой, каким она когда-то останавливала класс, где кто-то решил поджечь магний.

— Мам, я только сумку...

— Не лезь, я сама. Там всё поедет. Слезай. Я завтра освобожу тебе место в шкафу.

Я слезла. Мама подошла, проверила защёлку — закрыта — и ушла к себе. Я стояла с сумкой в руках и думала: у каждого есть своя антресоль. У меня, оказывается, была целая жизнь на антресоли, которую я двадцать лет не открывала.

* * *

Тёма переодевался в пижаму. Он теперь стеснялся, отворачивался, но дверь в комнату всё равно не закрывал до конца — привычка, ещё с детства, когда боялся темноты. Я мельком увидела у него на животе, справа внизу, тонкую розоватую полоску.

Аппендицит. Позапрошлой весной — той самой, когда я

«отошла от дел». Он проснулся ночью, белый, с поджатыми коленями, и сказал: «Мам, мне как будто туда воткнули шило». Детская больница, приёмный покой в три часа ночи, хирург с усами, как у моржа, и мой сын, которого увозят на каталке и который просит не говорить Соне, что он плакал. Я провела там с ним весь день, а потом ещё неделю. Ела больничную кашу с его тарелки, потому что он не хотел. Читали «Остров сокровищ» по ролям. Он был Сильвером, а я, по его настоянию, попугаем.

Тогда я и решила: хватит. Хватит жить в двух местах сразу, хватит завода по двенадцать часов. Вадим сказал: «Конечно, отдохни». И попросил оставить меня на ставке «для стажа».

Тёма поймал мой взгляд, быстро натянул пижамную куртку и сказал:

— Мам, не смотри, это личное.

— Ты был отличным Сильвером.

— А ты — ужасным попугаем.

* * *

С Ирой мы встретились в понедельник в кофейне у трамвайного кольца. Ирина Голубева, мой самый старый друг: с первого класса за одной партой, на выпускном вместе сбежали с бала на Чкаловскую лестницу. Адвокат по семейным делам, своя практика, маленький офис на Белинке и репутация женщины, которая «вынимает из мужей всё, включая совесть».

— Начинала я, кстати, у дяди Гены, ты помнишь? — сказала она, размешивая сахар в капучино. — Он меня и построил после юрфака. Пять лет у него отпахала, потом ушла в свободное плавание. Он у нас как папа римский: полгорода его выпускники.

— Помню. — Я выложила на стол паспорт. — Ир, давай сразу. Договор, аванс, всё как с клиентом.

— Ты с ума сошла? Мы двадцать пять лет...

— Вот именно. Двадцать лет я не платила за своё. Все решения принимал кто-то, кто «лучше знает». Хватит. Я хочу платить и иметь право спросить: что ты сделала за мои деньги?

Ира посмотрела на меня долго, потом вздохнула и достала из сумки бланк. Сто пятьдесят тысяч за развод и раздел, пятьдесят авансом. Я перевела с зарплатной карты. Минус пятьдесят. Я мысленно записала это в столбик.

— Значит, так. — Ира взяла бумажную салфетку и ручку. — Расклад плохой, сразу говорю. Вадим на развод уже подал, в пятницу, к мировому. Юрист у него Ковальчук Арсений Валерьевич. Скользкий, молодой, корпоративщик, наглый.

Она нарисовала на салфетке квадратик.

— Дом. Записан на свекровь, куплен на её имя, собственник — она. Мы можем, конечно, пытаться доказать, что деньги ваши, но это годы, и шансов почти ноль. Ставлю крест.

Крестик на квадратике.

— «Тёплый хлеб» — сто процентов у свекрови. Учредитель она, директор Вадим. Крест.

Второй крестик.

— Квартира на Верхневолжской — куплена в браке, в ипотеку на Вадима, остаток долга четыре двести. Совместная. Делится, но в ней живёт эта... — Ира поморщилась. — В общем, делится. Половина, минус половина долга. Негусто.

Кружочек.

— Твой заём заводу, два сто. Требуем.

Ещё кружочек.

— И доля. — Ира нарисовала большой круг и обвела его дважды. — Сто процентов «Сормовского хлеба» у Вадима. Завод, земля у Волги, корпуса. Да, там долги, кредит, но это единственное, что имеет вес. Всё решает доля, Вера. Если она общая, тебе половина. Это рычаг. С ним мы торгуемся за всё остальное.

Я смотрела на салфетку. Квадратик с крестом — дом, где Тёма сделал первый шаг. Квадратик с крестом — двадцать три пекарни, каждую из которых я выбирала сама, стоя на тротуаре и считая пешеходов. Кружочки. И большой круг, в котором было всё, что осталось от моего отца.

Двадцать лет брака уместились на салфетке из кофейни, и даже место осталось.

— Когда Вадим получил долю? — спросила Ира.

— В восьмом. Весной. Папа... папа передал ему, чтоб

осталось в семье. Мы с Вадимом уже были женаты.

— Купил или подарено?

— Я... — Я замялась. — Я тогда была на пятом месяце, Ир. Папа в реанимации. Я не помню бумаг. Я потом отказалась от наследства в пользу мамы, там тоже ничего не читала, нотариус показала, где подписать.

Ира постучала ручкой по большому кругу.

— Вот в этом вся игра. Купил в браке — половина твоя. Подарено — у тебя ноль. Подарок личное имущество, хоть в браке, хоть на Луне.

— Папа ему ничего не дарил.

Ира подняла на меня глаза.

— Ты уверена?

Я открыла рот, чтобы сказать «да», и не сказала. Потому что не была уверена. Потому что двадцать лет подписывала, где покажут, и даже не знала, что подписывал мой муж.

Глава 6

Не дури

Дядя Гена приехал в воскресенье, двенадцатого, без звонка, с пакетом мандаринов.

Мандарины в октябре — это было очень по-генински. Он всегда приносил то, что не по сезону: клубнику в феврале, арбуз в мае, ёлочную игрушку в июле, «чтоб не забывали, что праздник впереди». Тёма открыл дверь и обрадовался, как радуются только крёстным: без оглядки.

— Капитан! — Дядя Гена отдал ему пакет и пожал руку, как взрослому. — Как флот? «Крузенштерн» держит курс?

— Держит. Только у него ванты на бизани провисли, я переделаю.

— Ванты на бизани — это серьёзно. Дед бы оценил.

Семьдесят два года, седые густые волосы, клетчатый шарф, пальто из хорошей шерсти, но не новое, с аккуратной штопкой на манжете — дядя Гена принципиально не покупал новых пальто, «пока это не сносил». От него пахло одеколоном «Шипр» и табаком, хотя курить он бросил лет двадцать назад.

Мама вышла из кухни, вытирая руки полотенцем.

— Здравствуй, Гена.

— Здравствуй, Люда. Прекрасно выглядишь.

— Не выдумывай. — Мама повесила полотенце на крючок. — Вера, поставь чайник. Я пойду прилягу, голова что-то.

И ушла к себе, закрыв дверь. Она всегда уходила, когда приходил дядя Гена. Всегда, сколько я себя помнила, — с тех пор как папы не стало. «Голова», «давление», «надо позвонить сестре». Я думала, это потому, что он напоминает ей о папе. Однокурсники, тридцать лет бок о бок на заводе, одни и те же шутки.

Дядя Гена посмотрел на закрытую дверь, грустно улыбнулся и сел на кухне на папин стул. Тёма разложил мандарины горкой на тарелке и ушёл к кораблю.

— Ну, рассказывай.

Я рассказала. Коротко, по пунктам, как отчитывалась папе в девятнадцать. Карта, банк, свекровь, выписка, эвакуатор, Соня, проходная, коробка. Про Корнеева не сказала — сама не знаю почему. Наверное, потому, что не знала, что о нём сказать.

Он слушал, кивал, чистил мандарин длинной спиралькой, как умел только он: одна шкурка целиком, ни одного разрыва.

— Мерзко, — сказал он, когда я замолчала. — Мерзко, Верунь. Я Вадима знаю двадцать лет, не ожидал. Хотя... — Он развёл руками. — Мужики в сорок пять дуреют. Это я тебе как старый мужик говорю.

Он достал телефон, надел очки, потыкал пальцем. У меня в кармане звякнуло.

Зачисление 500 000,00 #. Отправитель: Геннадий Борисович Л. Сообщение: Не дури, Верунь, бери, что дают. Отдашь, когда будет.

— Дядь Ген...

— Тихо. — Он поднял ладонь. — Тебе сейчас жить. Тёму кормить. Адвокату платить. Я знаю, как это делается, я сорок лет в профессии. Отдашь, когда будет. Не будет — не отдашь. Ты моя крестница.

Я посмотрела на экран: пятьсот тысяч, без процентов, без срока, с сообщением «не дури». Самый щедрый подарок в моей жизни после бабушкиной квартиры — и он пришёл от

человека, который мне даже не родственник. А родной муж вдвое суток назад заблокировал мне карту на кофе.

— Спасибо, — сказала я. — Сейчас напишу расписку.

Он рассмеялся. Громко, от души, запрокинув голову.

— Ладыгинская порода! Лёшка такой же был. Я ему в девяносто пятом сотню долларов одолжил на бензин, так он мне расписку на салфетке написал. С датой и подписью. Я её до сих пор храню, представляешь.

— Представляю, — сказала я и достала из папиного стола лист бумаги.

Расписка. Я, Соколова Вера Алексеевна, паспорт... получила от Лаврентьева Геннадия Борисовича в долг денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей безналичным переводом 12.10.2025. Обязуюсь вернуть. Дата, подпись.

Он взял лист, прочитал, кивнул и аккуратно сложил вдвое, а потом ещё раз — точно по линии, ногтем прогладив сгиб. Убрал во внутренний карман пальто.

— Порядок, — сказал он. — Папа бы тобой гордился.

Мы пили чай. Он рассказывал Тёме про то, как на «Крузенштерне» ходят курсанты и как в семьдесят шестом он сам видел его в Ленинграде. Тёма слушал с открытым ртом. Мама из комнаты не вышла.

* * *

В понедельник утром я пошла на почту.

Заявление об увольнении я написала накануне, ночью, за

папиным столом. Подумала над ним, как над годовым балансом. По собственному желанию, с тридцатого октября. Принести лично я не могла — меня не пускали дальше проходной иначе как «посетителя», а Нина не брала трубку. Значит, заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении. Чтобы потом никто не сказал, что я «пропала и не вышла» и меня уволили за прогул. И чтобы дата была неоспорима.

Ручку я взяла папину. «Паркер», чёрный, с золотым пером. Мама подарила его мне на свадьбу: «Пусть будет у тебя. Он им подписал первый договор на поставки в девяносто четвёртом». Двадцать лет «Паркер» лежал в шкатулке, а я подписывала всё шариковыми ручками с логотипами банков.

Я поставила подпись и посмотрела на неё. Синие чернила, моя фамилия, которую я получила от Вадима. Первая подпись за двадцать лет, под которой я точно знала, что написано.

Почтовое отделение на Коминтерна — три окна, одно работает, очередь из пенсионеров с квитанциями. Женщина в окне взяла моё письмо, бланк описи, проверила, расписалась, шлёпнула штампель и отдала мне квитанцию с трек-номером.

— Ценное? — спросила она.

— Очень, — сказала я.

* * *

Дома, пока Тёма был в школе, я открыла Госуслуги и заплатила фиксированные взносы ИП за 2025 год. Пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей.

ИП Соколова Вера Алексеевна было открыто в двенадцатом году. Тогда мы с Вадимом обсуждали, что я буду консультировать маленькие кафе — кому рецептуру, кому учёт поставить. Начались пекарни, дети, завод, на консультации не осталось времени. Двенадцать лет я сдавала нулевые декларации и платила взносы из своей зарплаты. Вадим смеялся: «Ты содержишь мёртвую душу». Я пожимала плечами.

Позвонила Ира — спросить про документы на квартиру.
— Ты, кстати, своё ИП не закрыла? Зачем тебе пустое ИП? Это ж минус полсотни в год ни за что.

— Пригодится.

— На что?

— Пригодится, Ир.

Она хмыкнула и не стала спорить. Ира знала: если я сказала «пригодится», то объяснять не буду. Иногда я и сама не могла объяснить. Но у бухгалтера есть особое чувство — чувство открытого счёта, который ещё сыграет. Двенадцать лет я платила за счёт, который не играл. Это было не упрямство. Это было то, что папа называл «держат патрон в патроннике».

* * *

Вечером дядя Гена заехал снова — забыл у нас перчатки, кожаные, с меховой подкладкой. Мама опять ушла в комна-

ту. Я вынесла перчатки в прихожую.

— Как ты тут, Верунь, держишься? — спросил он, натягивая их.

— Держусь. Заявление отправила. Взносы заплатила.

— Умница. Всё по закону, всё аккуратно. — Он застегнул пальто, обмотал шарф. — Ты, главное, не воюй сгоряча. Война — это годы. Деньги, нервы, дети. Я в судах сорок лет, я знаю, чем это кончается. Все проигрывают, кроме адвокатов.

Он открыл дверь, шагнул на площадку и, уже держась за перила, обернулся.

— Вадим, кстати, хочет встретиться с юристом. С тобой и юристом. Предложение у них хорошее, ты послушай. Без эмоций.

Я стояла в дверях.

— Откуда ты знаешь?

Дядя Гена улыбнулся мне той самой улыбкой, с которой когда-то приносил клубнику в феврале.

— Весь город мне звонит, Верунь.

Глава 7

Вадим

Вадим

Был второй час ночи. Кристина спала, отвернувшись к стене, подложив руку под щеку, как ребёнок. Вадим сидел на краю кровати в квартире на Верхневолжской и в который

раз открывал на телефоне одно и то же письмо из частной лаборатории.

Результат исследования: неинвазивный тест на определение пола плода. Срок беременности: 8 недель 1 день. Обнаружена Y-хромосома. Пол плода: мужской.

Мужской. Вадим погладил экран большим пальцем, как будто там было что-то, что можно погладить. Сын. Он уже решил, что назовёт его Лёвой. Лев Вадимович Соколов. Звучало. Кристина сначала хотела Марка, потом Мирона, но когда он сказал «Лёва», она посмотрела на него и улыбнулась: «Как скажешь». Ему нравилось, как она это говорит. Вера никогда так не говорила. Вера говорила: «Давай посчитаем».

За окном внизу горели огни Волги, мост, тёмная Стрелка. Квартиру он купил в девятнадцатом, в ипотеку, «для инвестиций». Вере сказал: сдадим, деньги детям на учёбу. Сдавал два года. Потом в двадцать третьем привёз сюда Кристину — «пока, временно», — и не стал объяснять даже себе, что значит это «временно».

Ему было сорок пять. Двадцать два года назад мать устроила его менеджером по продажам на хлебозавод Ладыгина. «Иди, там стабильно». Он пришёл в мятом пиджаке, с дипломом торгового техникума, и Алексей Николаевич посмотрел на него поверх очков так, будто прикидывал, сколько этот парень продержится. Продержался. Продавал хорошо: сети, детские сады, больницы. Его любили закупщики. Он умел улыбаться, помнить имена жён, привозить коньяк на

дни рождения.

Потом была Вера. Дочь директора, умная, в очках, в цеху в белом колпаке, с мукой на щеке. Он влюбился, кажется, честно. Или ему так казалось. Сейчас он уже не мог сказать.

Двадцать лет в доме Ладыгиных он чувствовал себя приживалом. Тесть — легенда: «Алексей Николаевич в девяносто третьем...», «Алексей Николаевич говорил...» Тёща — учительница, которая смотрела на него, как на двоечника, неправильно записавшего формулу. И жена, которая знала каждую цифру лучше него. Он подписывал документы, а Вера объясняла ему, что в них. На совещаниях он говорил, а люди смотрели на Веру — правильно ли. Даже дом в Новинках выбирала она. Даже пекарни назвала она: «Тёплый хлеб». Он хотел «Хлебный дом», она сказала: «Вадь, это звучит как столовая». И все засмеялись.

Теперь у него будет свой дом. Своя семья. Сын, которому никто не будет рассказывать, каким великим был дед.

Карту и машину ему подсказал Ковальчук. Арсений Валерьевич, молодой, в узких брюках и с часами, которые стоили, как полмашины. Сказал спокойно: «Вадим Сергеевич, обрежьте доступы сразу, в один день. Без предупреждений. Чтоб не наделала глупостей». Вадим спросил: «Каких глупостей?» Ковальчук улыбнулся: «Любых. Ваша жена — главбух. Главбух с доступом к банку и с обидой — это не жена, это риск». Звучало разумно. Он сделал.

Было ли ему неприятно, когда он узнал, что машину за-

брали прямо у школы, при Тёме? Было. Он собирался по-другому: позвонить в лизинг, попросить забрать из Новинок вечером. Но в лизинговой компании сказали, что всё уже назначено, «вам юрист согласовал адрес». Ковальчук потом извинился: «Накладка. Зато быстро». Вадим подумал и решил, что быстро — это правильно. Рвать — так сразу.

Соня выбрала его. Он вспомнил, как она стояла на кухне с этим зайцем и сказала: «Пап, я с тобой». Он не ожидал. Испугался, что придётся везти её сюда, к Кристине, в двушку с одной спальней и детской, где ещё не высохла краска. Но дочь сама всё поняла. Сама осталась. Значит, он прав. Если умная, взрослая, почти восемнадцатилетняя дочь на его стороне, — значит, он прав.

Тёма... Тёма встал рядом с матерью и поставил на стол корабль. Вадим вспоминать об этом не стал.

Завтра он напишет Вере. Коротко, как в рабочем чате. Ковальчук сказал: «Накануне, не раньше, чтоб не успела адвоката проконсультировать как следует». Послезавтра — встреча у Ковальчука. Три миллиона наличными или переводом — как захочет. Взамен она отказывается от раздела доли, квартиры и своего займа и даёт нотариальное согласие на продажу квартиры. Кристина хотела трёшку побольше, поближе к парку, «для Лёвы». Это тоже было разумно.

Три миллиона за то, что ей и так не положено. Это щедро, говорил Ковальчук. Доля в заводе — личное имущество Вадима Сергеевича, получена от тестя безвозмездно, бума-

га есть, всё чисто. Делить нечего. Квартира — да, её делить надо, но с ипотекой там копейки. Заём — «по займу у нас тоже всё решено, не волнуйтесь».

Вадим не стал спрашивать, как решено по займу. Он давно перестал спрашивать у юристов, как у них решено. За это им и платят.

Безвозмездно. Он попытался вспомнить восьмой год, весну. Тесть в реанимации, Вера на пятом месяце, белая, с огромным животом, ходит по коридору больницы и не может сесть. Его вызвали подписать какие-то бумаги. «Лёша решил, — сказали ему. — Чтоб завод остался в семье. Через тебя». Тёща потом подтвердила: «Алексей сам так решил». Он подписал. В каком кабинете, какие бумаги, сколько листов — не помнил. Помнил только, что подписывал быстро, а рука немного дрожала, и что в тот же вечер напился один в гараже.

Восьмой год у него лежал в дальнем ящике. Там же, где «старый долг». Он туда не заглядывал и не собирался. Есть вещи, которые человек кладёт в ящик и закрывает, и если он хочет жить нормально, он этот ящик не открывает. Вадим умел не открывать. Двадцать лет тренировался.

Он открыл другое — банковское приложение. Остаток на личном счёте, кредитка, лимиты. Ковальчук сказал, что после развода надо будет переоформить кое-что «на маму», чтобы при разделе не было лишних вопросов. Мама не возражала. Мама никогда не возражала, если речь шла о нём.

В телефоне тихо мигнуло сообщение от Сони: «Пап, ты спишь? Мне завтра нужны деньги на пробник, 1500». Он перевёл три тысячи и написал: «Не сплю. Люблю тебя, Сонька». Она прислала сердечко. Он смотрел на это сердечко и думал, что всё правильно. Всё просчитано. Всё по-взрослому.

Кристина пошевелилась за спиной.

— Ты чего не спишь? — спросила она хрипло, не поворачиваясь.

— Думаю.

— О ней?

— О деле.

Она помолчала. Потом повернулась на спину и посмотрела в потолок. В полутьме он видел только её профиль.

— Вадь. А если она не возьмёт? Три миллиона?

Вадим положил телефон на тумбочку экраном вниз. Лёг рядом, положил ладонь ей на живот, ещё совсем плоский, тёплый.

— Возьмёт, — сказал он. — Она двадцать лет подписывала, где покажу.

Глава 8

Шкатулка

В среду, пятнадцатого, я провела ревизию своего.

Бухгалтер, который не знает своих активов, — не бухгалтер, а женщина с калькулятором. За неделю я узнала, что не

знаю почти ничего о том, что считала нашим. Значит, надо было хотя бы знать, что осталось моим.

Я разложила на папином столе всё. Паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке, детские свидетельства о рождении. Выписка с зарплатной карты: 380 тысяч минус 50 авансом Ире, минус взносы, плюс 500 от дяди Гены в долг. Трудовой договор шестнадцатилетней давности. Договор лизинга, который уже ничего не стоил.

И бабушкина шкатулка.

Деревянная, семёновская, с хохломой: красные ягоды и золотые листья по чёрному. Бабушка Аня держала в ней облигации, письма деда с фронта и свои бусы из чешского стекла. Когда она умерла, шкатулка досталась мне вместе с однушкой на Бекетова. Однушку я продала в апреле одиннадцатого. Бусы отдала Соне. Письма деда лежат на дне. А сверху — бумаги, которые я никогда не держала в сейфе дома в Новинках, потому что дом в Новинках никогда не был моим. Видимо, я это знала. Где-то там, где не считаю.

Сверху лежал договор займа.

Договор займа № 1. г. Нижний Новгород, 14 апреля 2011 года. Займодавец: Соколова Вера Алексеевна. Заёмщик: ООО «Сормовский хлеб» в лице генерального директора Соколова В.С. Сумма займа: 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей. Срок возврата: до востребования.

О процентах в договоре не было ни слова. Вадим тогда сказал: «Какие проценты, мы ж семья». Я согласилась, но не

потому, что «семья». Я, главбух, знала: если в договоре займа между гражданином и организацией не сказано, что он беспроцентный, проценты всё равно идут — по ставке рефинансирования, по закону. Я тогда подумала, что это неважно. Через четырнадцать лет это стало важно.

Я взяла калькулятор — папину «Электронику», которая не работает, держала её в руке просто для уверенности, а считала на телефоне. Четырнадцать с половиной лет. Ставка менялась каждый год, иногда по три раза. Я выписала периоды столбиком, как учила студенток на практике: дата, ставка, дни, начислено. Получилось около двух миллионов семисот. Вместе с телом — примерно четыре и восемь.

Четыре миллиона восемьсот тысяч. На эти деньги можно снять двушку на три года. Или оплатить Соне платное отделение, если она не доберёт баллов. Или купить «Киа», которую не заберут у школы.

Под договором лежало свидетельство на товарный знак. Плотная бумага с гербом Роспатента, словесное и изобразительное обозначение «Тёплый хлеб»: колосок и пар над буханкой, который я сама рисовала карандашом на салфетке, а потом заплатила дизайнеру восемь тысяч, чтобы он сделал красиво. Правообладатель — индивидуальный предприниматель Соколова Вера Алексеевна. Срок действия продлён до 2033 года.

В двенадцатом году юристы посоветовали оформить знак на кого-то, кто «не уйдёт вместе с заводом при банкротстве».

Вадим махнул рукой: «Оформляй на своё ИП, какая разница». Разницы тогда и правда не было.

К свидетельству была подколота копия лицензионного договора: неисключительная лицензия ООО «Тёплый хлеб», вознаграждение — один рубль в год. Регистрация в Роспатенте, номер, дата. Мой палец задержался на строке со сроком действия — и пошёл дальше, к подписям. Я помнила эту строку. Я вообще помню сроки всех договоров, которые когда-либо проверяла. Это профессиональная болезнь, как у пианистов мозоли.

Я сложила бумаги обратно и накрыла шкатулку крышкой. Хохломские ягоды лежали под ладонью прохладные и гладкие.

* * *

После школы Тёма лёг на диван с телефоном и вдруг попросил:

— Мам, покажи прошлый Новый год.

— Какой?

— Видео. Где ты тост говоришь. У тебя в чате было.

Семейный чат «Соколовы». Четверо участников: я, Вадим, Соня, Тёма. Шесть лет переписки: «купи хлеба», «я задерживаюсь», «где ключи от гаража», мемы с котами, которые кидал Тёма, и голосовые от Вадима, которые никто не слушал до конца. Последнее сообщение — от меня, неделю назад: «Ребята, ужин в семь». Никто не ответил.

Я пролистала вверх, до декабря прошлого года. Нашла.

Гостиная в Новинках, ёлка до потолка, гирлянда, которую Тёма три часа распутывал. Стол с оливье, холодцом Галины Борисовны и моим фирменным ржаным с тмином. Я в синем платье, с бокалом, немного смущённая. Камера дрожит — снимает Вадим.

— Дорогие мои, — говорю я на видео. — Этот год был... сложный. Но мы вместе. И это главное. Я хочу, чтобы в следующем году...

— Верунь, давай короче! — голос Вадима за кадром, весёлый, чуть пьяный. — До курантов уже меньше часа, а ты как на планёрке!

Все смеются. Соня закатывает глаза, но тоже смеётся. В кадр влетает Тёма с бенгальским огнём в руке. Искры летят на скатерть, бабушка кричит: «Артём, на улицу с этим!» Тёма кружится и выводит в воздухе огненную восьмёрку.

— Это знак бесконечности, — серьёзно говорит Тёма в камеру. — Чтобы всё было всегда.

Видео заканчивается. Тёма смотрит на экран, не моргая.

Я хотела сказать что-то правильное — про то, что всё равно было хорошо и всё равно будет. Не успела. На экране, прямо под видео, всплыла серая системная строчка:

Вадим покинул группу

Минуту назад. Пока мы смотрели. Пока его голос говорил «Верунь, давай короче».

Тёма прочитал. Положил телефон на диван экраном вниз. Встал и ушёл на кухню. Через минуту я услышала мамин го-

лос:

— Иди сюда, Артём. Будем ржаной ставить. Мука в нижнем шкафу.

Я вышла следом и встала в дверях кухни.

Мама насыпала в эмалированную миску ржаную обдирную, достала из холодильника банку закваски — её закваске лет тридцать, папина ещё, мама кормит её раз в неделю, как кошку. Тёма засучил рукава.

— Сначала руками, — сказала мама. — Ложкой не чувствуешь. Тесто должно сказать тебе, сколько воды.

— Как оно скажет?

— Прилипнет. Или не прилипнет. Слушай пальцами.

Тёма запустил руки в миску. Мама положила свои ладони поверх его — сухие, с проступившими венами, с обручальным кольцом, которое она так и не сняла, — и начала месить вместе с ним, медленно, складывая тесто от краёв к центру.

Её руки вдруг стали мягче, чем лицо. Лицо оставалось строгим, учительским, с поджатыми губами. А руки гладили тесто, как гладят спину ребёнку, который плачет и не хочет, чтобы видели.

Я вернулась в комнату, села за папин стол и открыла шкапу ещё раз.

Заём я потребую. Не потому, что мне нужны деньги, хотя они мне очень нужны. А потому, что это мои деньги. Моя бабушкина однушка на Бекетова, где на кухне висел отрывной календарь и пахло валерьянкой. Мои первые три пекар-

ни. Мой единственный договор за двадцать лет, где я была не той, кто подписывает, а той, кому должны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.